

Астафьев Виктор Петрович Тревожный сон [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Ружье было засунуто в штанину от ватных спецодежных брюк, еще укутано в детскую распашонку, в онучи и разное лоскутье, промасленное насквозь. Когда Суслопаров распеленал ружье из этого многослойного барахла и оно растопырилось двумя курками, желтыми от старого густого масла, Фаина как бы издалека спросила: ? Заржавело небось? Суслопаров хотел сказать: посмотрим, мол, поглядим ? и уже взялся обрубком пальца за выдавленный рычажок замка, собираясь открыть ружье, но тут до него дошло ? в голосе, которым Фаина спрашивала, нет огорчения и сожаления нет, что ружье заржавело и она потерпит убыток. А есть в этом голосе надежда, чуть обозначившая себя, но все же прорвавшаяся. "Ну зачем оно тебе, зачем?" ? хотел сказать Суслопаров и не сказал, а только быстро взглянул на Фаину и опустил глаза. Фаина стояла, прислонившись поясницей к устью русской печи, опираясь обеими руками на побеленный шесток, готовая в любую минуту забрать ружье и положить его обратно в сундук. Во взгляде ее, открытом и усталом, были одновременно и смятение, и покорность, и все та же надежда, что все обойдется, все будет как было, и в то же время во взгляде этом, не умеющем быть недобрым, таилось отчуждение и даже враждебность к нему, Суслопарову, который может насовсем унести ружье. Суслопаров давнул на рычажок, так и не подняв глаз. Ружье с хрустом открылось. Суслопаров, скорее по привычке, а не для чего-либо, заглянул в стволы, потом, пощелкивая ногтем, прошелся по ним, вдавил в отверстия ладонь и посмотрел на синеватые вдавыши на буграх ладони, как на сельсоветскую печать. После всего этого он шумно дохнул на тусклую от масла щеку ружья и вытер ее рукавом. Еще дохнул, еще вытер, и серебристая щека ружья бросила веселого зайца в избу. Фаина поняла, что это последняя, далеко уже не главная прикидка к вещи, что участь ружья решена, и с нескрываемым сожалением вздохнула: ? Ружье без осечки. Теперь таких уже не делают. И Суслопаров, лучше, чем она, знающий это ружье и тоже почему-то убежденный, что до войны ружья делали лучше, в тон ей добавил: ? Да, теперь таких нету. Потому и беру. ? И, спросив тряпку, как бы окончательно отменил все возможные попытки Фаины к сопротивлению. Фаина почти сердито, издала бросила ему пегую от стирки онучу и села на табуретку возле окна с мотком ниток, натянутым на ухват. Она сматывала шерстяные нитки, то и дело промазывая мимо клубка, сматывала, остановившись взглядом на окне. Суслопаров досуха в каждой щелке и скважине протирал ружье и всецело отдался этому занятию, едва сдерживая далеко затаившуюся охотничью дрожь. Руки металась по ружью, гладили его, а по избе метался заяц, и раза два он угодил в глаза Фаине. Она досадливо морщилась и взглядывала в сторону Суслопарова. Но тот увлекся, ничего не замечал вокруг. Душа его в эти минуты была полна охотничьими предчувствиями, а голову тревожили воспоминания, и он горевал по-мужицки обстоятельно и по-русски щемливо, как будто обидел кого или его обидели. Ружье это они покупали с мужем Фаины, Василием, его другом детства, в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Покупали в только что построенном магазине Лысмановского леспромхоза. Василий тогда работал в тарном цехе на круглой пиле и года два как был женат на Фаине, тоже работавшей в тарном цехе и тоже на пиле, только на двуручной: тяни к себе ? отдай напарнику. Василий, как в праздник, надел новое полупальто, только что подшитые валенки, оставляющие на снегу мелкую, с просыаное семя, строчку, и вместе с Суслопаровым подался в магазин. Там они с пристрастием и дотошностью выбирали это ружье из десятка таких же замазученных, смертельно чужих дустволок. Наконец отложили одну. Народу к этой поре у прилавка скопилось уже дивно. Василий, сунув руку глубоко за пазуху, стиснул там деньги и даже малость побледнел, готовый вынуть их, эти деньги, или не вынимать. Но оторвать взгляда от ружья он уже не мог и раздумывать был уже не в силах. Заручаясь поддержкой, вытаращил глаза на друга своего Суслопарова и с натугой выдохнул: ? Ну? У Суслопарова не хватило духу ответить сразу. Он развел руками, с вопросительной улыбкой глядел на людей, на продавца, на Василия. Уж кто-кто, а он-то до глубины понимал важность момента. Это он вместе с Васькой еще парнишкой мастерил деревянные ружья и пулял из них по чему попало, разил зверье, птиц и людей наповал. Стали школьниками, вместе же смастерили поджиг, добрый поджиг: ствол из латунной трубки, ручки ? сухая береза, окованная жестью от консервной банки. Ствол туго-натуго набили спичками и еще порошу щепотку натрясли из старой коробки, чтоб уж жажнуло так жажнуло. Пальнуть хотелось каждому. Тянули жребий. Васька вытащил короткую спичку. Суслопаров, зажмурившись, ширкнул коробкой по спичке, приложенной к дырке в трубочке, ? и тут так жажнуло, что пистоля вместе с пальцами Суслопарова, зацепив еще половину уха, разлетелась в разные стороны. Остались на правой руке Суслопарова три колышка вместо пальцев и синяя сыпь на щеке от пороха. Но это нисколько не подействовало на него. Вырос он и стал таскаться с пистонками,

должно быть еще пугачевских времен, разными обрезам, берданками, от которых все чего-нибудь отваливалось и которые не стреляли. Ружье настоящее он пока еще видел только во сне и потому был растерян даже больше, чем Василий. Но он был в эту минуту всего-навсего сватом ? не женихом. А у свата, как известно, ответственность совсем не та, что у жениха. Потому Суслопаров решительно хватил кулаком по прилавку так, что заговорили тарелки на весах: ? Берем! Они несли по поселку ружье гордо, как носят женщины бесценного первенца. Широкое, стесанное клином у бороды, наподобие штыковой лопаты, лицо Василия сияло, и по нему пробегали разные хорошие чувства ? и довольность собою, и отчаянность, и вдруг накатывающий испуг: шутка ли ? ведь возврата вещей в казенной торговле нету... Но испуг гасила закипавшая любовь к этому, пока еще не обтертому, не обстрелянному, еще шибко лаковому, шибко вороному ружью. ? жена! Отворяй ворота! ? закричал на весь барак Василий, и чистенькая, ладненькая Фаина, давно уже проглядевшая окно (на покупку ружья ее, как бабу, из суеверных соображений не взяли), выскочила в коридор, где было много дверей, а ворот никаких не было. ? Мамочка моя родная! ? охнув, прижала руки к груди Фаина. Она знала, что ружье принесут. Она вместе с Васей своим копейка по копейке, рубль по рублю откладывала на него, и все же покупка эта казалась ей далекой, почти неосуществимой. А тут на тебе! И во взгляде Фаины, и в ее голосе ? неподдельный испуг, потому что выросла она в семье небедовой, где никаких ружей, никакой пальбы сроду не бывало, а тут такая гремучая силища поселится в их комнатушке, да еще над кроватью. Вдруг пальнет! Ружье-то и незаряженное, говорят, раз в году стреляет. Да и Василий очень уж пугать ее любит. Вон и сейчас сияет, доволен, что вбил в испуг. Но опять же он твердит, что без ружья, без охоты жизни не понимает. Она и сама видит, не слепая ? не хватает чего-то человеку, томится он, а ей мнится, что от недостатков это ее женских каких-то. Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату, терли его подолами и рукавами чистых рубах, дышали на него, опять вытирали, взялись, как дети, курками щелкать. Фаина вздрагивала при каждом щелчке, ожидая, когда пальнет. Мужики забыли о ней совсем, подолгу глядели в стволы, отыскивая какие-то три теневого кольца, а их оказывалось то два, то вовсе ни одного, спорили, ругались, снова глядели, зашурив один глаз. У Фаины шевельнулось ревнивое чувство к ружью. Суслопаров, крупный парень с большой головой, с большими руками и с маленьким носом, еще не был пока женат и ружья не имел, но держал старшинство. Заметив упавшее настроение Фаины, он пробасил важно Василию, готовому теперь, по подозрению Фаины, не только днем, но и ночью обниматься с ружьем: ? Все! Дело за пристрелкой. Фаина колдовала у плиты над сковородкою, в которой швырчала картошка. Суслопаров, глядя на окатистую спину Фаины и смутно представляя, какие чувства могут происходить с мужчиною, если обнять такую фигуристую бабенку, значительно проговорил: ? Береги ружье! Оно, как жена, на уход и ласку добром тебе ответит! ? сказал и подвинулся к столу. Мужики выпили маленько и пошли на Лысманиху с ружьем и патронами. Палили там в торцы бревен и в старый таз. Вернулись довольные собою и всем на свете. Еще мало ношенная кепка Василия была, как терка, в дырках, и назавтра в цехе Василий всем показывал эту кепку, бахвалился. Мужики одобрительно трясли головами, прищелкивали языками: "кучно!", "резко!", "дает!", "сыплет!" ? и всякие слова добавляли. О Фаине Василий как будто совсем забыл, и вдруг возникшее отчуждение мужа повергло Фаину в обиду, готовую привести к слезам. Василий и раньше не очень-то обращал на нее внимание в цеху, на работе, при людях, в особенности при мужиках. Нежнее, чем фаяка, не кликал и вообще по возможности редко встречался тут с нею и держался предельно сурово. Но Фаина-то знала, что на самом деле он ручной, ласковый. Дома зовет ее Фаинушкой, а приспичит, так и фаяшкой, и горошинкой, и синичкой, и такие слова ей говорит, какие под страхом казни в другом месте другому человеку никогда не скажет. Фаина понимала ? так надо. Он ? мужик. И в нем гордость такая мужицкая сидит. Но гордость гордостью, а она все же вопрос поставит ребром ? жена или ружье. Порешив так, Фаина, перекрывая звон и визг пил, которыми был переполнен маленький цех, еще более тонким и властным голосом позвала Василия обедать. Расстелив на коленях платок, она стала лупить яйцо себе. Василий предварительно стукнул яйцом по лбу Фаины так, что сломалась скорлупка. Но она не улыбнулась шутке. Съели харчи, выпили из бутылки молоко. Василий спустился к Лысманихе, вымыл бутылку в проруби и, вернувшись, сказал, что через неделю уйдет дня на три в лес, охотиться. И так он это буднично сказал, что с Фаины весь гранит ссыпался и стало ясно ей ? возражать бесполезно: в жизнь их вошла перемена. Заранее попыталась Фаина представить, как ей будет одиноко и тревожно без мужа, но представить до конца не могла, потому как никогда еще в разлуке с мужем больше ночи не жила. Первый раз Фаина провела почти целую неделю без сна и покоя, потому что вместо трех дней Василий пробыл в лесу семь. Она металась по барраку. Она бегала в контору и требовала искать мужиков и поражалась спокойствию и равнодушию людей. Она проклинала Суслопарова, который сманил Василия на

сохатого. Пропади он пропадом, этот сохатый, вместе с Суслопаровым, это ружье и эта тайга. Вот только явятся (явятся бы!), и она сделает Суслопарову от ворот поворот, а потом станет точить мужа и доточит до самого корня. Они возьмут расчет и уедут в город. Из города не больно в тайгу ускачешь! Она, брат, тоже умная! Но к той поре, как прибыть домой мужу, Фаина так уже исстрадалась и обессилела, что хватило ее лишь на то, чтобы привалиться к дымом пахнущей телогрейке Василия и зарыться в нее носом. Василий был в редкой стальной щетине, диковато-шалый. Зверем пахли руки его, тискавшие и мявшие фаину. И был он совсем-совсем усталый. Он что-то начинал рассказывать и тут же перешибал себя, просил баню истопить, пытался поесть, но только выпил семь кружек чаю с сахаром, а сверх того еще стакан браги, с которой вдруг захмелел, ослабел и ничего разумного уже ни сказать, ни сделать не мог. Назавтра из тайги привезли во вьюках окрошенелые мешки, а на закорках Василий приволок голову сохатого с разъемистыми рогами, напоминавшими заостренелые листья цветка ? марьиного корня. Голову свалили около плиты на скамейку ? чуть оскаленную, с еще недожеванной веткой в зубах, с тихо остывшим глазом цвета речного гольша, по которому рассыпался золотой крупой и осел на дно глазного яблока дрожливый всполох ружейного пламени. Фаина шарахалась от плиты по совсем уж теперь тесной комнатухе, роняла посуду, табуретки и, что делать с головою, как подступиться к такой горе мяса, не знала. Но Василий сам со всем управился. Мясо сдал в магазин, голову опалил, изрубил на студень, а рога спрятал под кроватью. И сколько было потом у Фаины этих волнений, этого нетерпеливого ожидания, так и не ставшего спокойной привычкой. Сколько было забот, хлопот, торопливых сборов в охотничью пору. Сколько она слышала от Василия рассказов с перескоками, с захлебом, рассказов, обрывающихся провальным сном. От рассказов о темных ночах, о лосях, о берлогах, о медведях дух захватывало, сон летел прочь. Но без всего этого жизни уже не могло быть, не мыслилась она по-другому. А вообще-то они разлучались редко. Как-то Василий ездил на три месяца в город на курсы, раза три-четыре на военную комиссию ? и все. Он никогда заранее не предупреждал о приезде. Он любил удивлять ее. Любил, чтобы все у них было весело и необычно. А она, по женской норовистости, все делала вид, что не нравится ей такой семейный уклад, что все у них не как у добрых людей, и, когда муж возвращался домой, она, заслышав его шаги, отворачивалась. Вовсе она и не чуует, как он открывает, дверь, как крадется к ней. Сердце вот только млеет да по спине холодок идет. Однажды, так вот подкравшись, он кинул ей на плечи что-то легкое, пушистое, живое будто. Это был платок оренбургский ? ее давняя мечта. И вот уж все, сердиться дальше невозможно, припасенные слова тут же куда-то делись. Слабая баба Фаина. Трогает руками платок, гладит его и целует за обновку расплывшееся до ушей лицо мужа и говорит ему совсем другие слова: "Ну, что мне с тобой делать? Вся кровь моя почернела. Буду я рожать детей припадочных из-за тебя, лешего..." А он хохочет, и ничему не верит из ее слов, и никакого значения им не придает, только норовит поздороваться, рукою трогает чего не надо. Она хлопает его по руке: "Не балуй!" А то раз на работе, пробегая по цеху, мимоходом сказал: "Фай! А ты пельмени из рябков ела?" Подозревая розыгрыш или еще какую затею, она неуверенно спросила: "А что?" ? "Да ничего, так", ? сказал Василий и зевнул при этом. Но она-то знала, чем все это кончится. В воскресенье Василий до снегу умчался в лес. Приш?л поздно вечером, весь в паутине, и закричал: "Фая! Зарублено! Завтра пельмени из рябка делаем!" И назавтра показал, как нужно обрезать мясо с костей рябчиков, с каких именно костей, как разводить мясо молоком, до какой густоты, какие нужно делать маленькие-маленькие пельмешки и в каком пахучем-пахучем бульоне их варить. Показал, как всегда, раз только. Он всему учился с маху, все одолевал за раз и сердился, если то же самое люди делали за два раза. Фаина забеременела и сделалась совсем как горошина. Она все чего-то шила и строчила, да скоблила столы, да подбеливала печку, и без того белоснежную. Василий затеял дом над Лысманихой, за поселком, у березового сколка, где много травы и ветру, речка рядом, чтобы сын, по его замыслу, сразу же хлебнул всего этого и сделался охотником. Василий даже имя придумал сыну, легкое имя, перекатывающееся во рту, как камешек-голышок, ? Аркашка. Но родилась Маришка. Дом к этой поре был наполовину готов, и они сложили в нем печку, переселились весной в кухню, а горницу Василий думал за лето отделать. В ту весну Василию в тайгу некогда было бегать. Он томился по охоте. Иной раз уж поздно вечером, когда плотничать становилось нельзя, забрасывал за плечо ружье, брал на руки дочку, кликал с собою фаину, и они шли на берег Лысманихи. Усадив жену на обсохший бугорок, Василий чуть отбегал в сторону, к срезу березовой рощицы, и оттуда голосом давал знать о себе: "Я здесь, фаюшка, недалече!.." А ей все равно немножко боязно было сначала. Но, обидевшись, пообвыкнув, она переставала с недоверием озираться, опускала руки, притиснувшие дочку. И все шуми и шорохи отдалялись. Ее охватывали покой, умиротворенность. Маришка спала, не выпуская груди, и через какое-то

время начинала быстро-быстро причмокивать. Томительная дневная усталость мягко пеленала Фаину, и она чувствовала, как эта трудовая усталость, этот покой, что пришел из мира в душу ее, вместе с молоком сочатся в дочку, насыщая ее, передавая ей материнскую доброту, трудолюбивость? все, что есть в Фаине, все ее соки, всю ее душу, всю любовь к этому привычному, но каждую весну обновляющемуся миру, который она с закрытыми глазами и даже во тьме ночной может представить себе отчетливо и ясно. Верткую, порывистую веснами, а летом говорливую, светленькую и утихомирившую, как божья старушка, Лысманиху, со студеной водой, которая в чаю крепка, а в бане мягка. Волос от такой воды куделистый делается, и перхоть исчезает, и, шелудивость с кожи мигом сходит. А с виду речка и речка, кто не знает? мимо пройдет, кто ведает? плюнуть в нее не решится. Вокруг поселка по косогорам и осыпям, в особенности на валу маленькой плотинки, желтая россыпь цветов мать-мачехи. Кажется Фаине, что все искры, вылетевшие за зиму из труб поселка, раздуло вешним ветром по земле. Возле ног Фаины по берегу речки клонятся долу, закрываются к вечеру белыми ушками лепестков тонконогие ветреницы, а меж них синеют, ерошатся хохлатки с кружевными листьями. Хохлатки всегда упруги и холодны, потому что в трубочках сине-розовеньких цветов даже днем не высыхает роса. Когда Фаина была маленькая, она высасывала росу из хохлаток и медуниц? говорили ей: "Красивая будешь!" И не зря говорили? Василий уверял: "Самая красивая!" Травой еще не густо пахнет, березником резко, горьковато. Березник весь в сережках и забусел в вершинах. На стволах его трепыхаются, хлопаются белые пленки. Береза старую кожицу меняет на новую. Новая кожица срыжа, и под нею ходит-бродит сок и будит в ветках листья. Как листья прочикнутся на ветках, сок в дереве остановится. Зелено все станет кругом, тепло будет, дочка станет ползать по траве... Благодать! А пока самая сейчас работа у земли, самые хлопоты, самое кружение, самые радостные песни. Под песни и одолевает она все: снег лежалый смоем, лед унесет, мусор травой укроет, грязь высушит. "Большая земля-то, родливая, добрая. Без земли что мы были бы?" Так сидит над Лысманихой Фаина, укачивая дочку и себя неторопливыми, тихими думами. Землю ослаивает легкий туман, низкий, студеной. В пелене его не заглушает, шумит затяжелевшая Лысманиха и, обгоняя медленный туман, мчит во всю вешнюю мочь до самой Камы. Там, толкнувшись в ее большой и мягкий бок, засыпает она, как дитя подле матери. Туман быстро истаивает, будто выдохнула его земля и снова замерла, чтобы не мешать Фаине и ее дочке, вдруг сладко, по-взрослому зевнувшей и открывшей глаза, видеть, и слышать, и жить в самих себе, но в то же время в этом до зябкости ошутимом мире. Вдали, там, где да березником запекается и тоже успокаивается красное небо, раздается отрывистое "цвырк", похожее на вскрик вспугнутой трясогузки, а вслед за этим ровно бы поскрипывание грубой кожи. Еще вскрик и еще скрежет кожи. В нем чудится какая-то непонятная, чужая, зовущая музыка. Но только ухо начинает привыкать к кожаному скрипу, как его снова четко, словно нитку ножницами, обрезает тревожный вскрик. Фаина видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Фаине цепенеет и даже молоко останавливается. Она, притиснув дочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть. Ждет. Из зари, покрывшейся темно-синей окалиной, из тлеющих вершин березника, как из далеких молчаливых веков, с зовущим криком и хорканьем возникает темная тень птицы, и замерший лес вдруг наполняется ожиданием. Кажется, облетает его постовой, чтобы проверить, как в нем и что в нем, в этом еще мокро, неприбранном, голом лесу. Длинноклювая, неуклюжая с виду птица роняет на землю зовущие звуки, будто отсчитывая последние секунды своей жизни. Фаине хочется закричать Василию, остановить птицу, но она не в силах оторвать от птицы взгляда, как птица не в силах остановить своего, наполненного любовным ожиданием, полета. Только смерть может остановить ее. Фаина уже научилась понимать, что все в жизни жестоко-разумно. Чтобы жить, человек должен косить и рвать красивые цветы, рубить зеленые, ни в чем неповинные деревья, убивать больших, до обидного незлых животных, ловить и стрелять птиц. Кабы человек мог жить только святым духом, он бы с радостью и удовольствием населил землю одними цветами, нюхал бы их и сам, наверное, был бы кратковечен, хил и беззащитен, как цветок, закрывающийся белыми ушками к ночи и не знающий той древней радости, того азарта и внутренней силы, бросающей человека на тяжкие охотничьи дороги, в смертельные опасности, от горечи неудач к радости добычи, той добычи, которой обязан своей вечностью человек. Фаина ждет, но всегда внезапно видит сыпанувшую из ружья полосу искр и слышит припоздальный грохот выстрела. Птица, споткнувшись и оттопырив крыло, легко и послушно валится с неба в березы. И все. Снова успокаивается на мгновение вздрогнувшая земля, только грустно-грустно становится. Они сидят трое? отец, мать и дочка? над речкой Лысманихой. На траве лежит птица вальдшнеп с чуть прищемленным круглым глазом, вся в нарядном пере, будто составляли ее из прошлогодних листьев, а кое-где по

лепестку мать-мачехи вклеили и не забыли светящихся гнилушек подсыпать на спинку и крылья. После все это позолотили весенним солнечным лучом. Оборвался песня птицы, оборвался еще один полет, еще одна живая любовь. Но над березовым колком, по грани темного леса, уже совсем в темноте и все же отделяющиеся от темноты черными размашистыми тенями летают и летают с хорканьем и цвырканием другие птицы, томимые любовью и жаждой вечного восполнения той жизни, которая ежегодно и ежеминутно уходит с земли. Дочка Маришка выпрастывает руку из одеяльца, трогает неподвижный глаз птицы пальчиком и пугливо отдергивает. Что-то уже и она чувствует! В поселке гаснут окна. На земле вылудилась и замерла молодая с проплешинами травка. От Лысманихи наплывают холодные волны пара, катятся по опушке леса, густеют там и уже плотно ползут по березнику. Кажется, что березник выше черных колен захлестнуло белопенным разливом. На островках стихают кулики. Лишь за речкою, на большой лиственнице, какая-то ночная птица мрачно и мерно роняет: "Бб-би-иннь, бб-би-иннь". Вальдшнепа перестали тянуть. Все погружается в тревожный весенний сон, и они трое ? отец, мать и дочка ? идут в свой недостроенный дом по холодной траве. Идут молча, медленно, хотя и озябли, хотя и в тепло, в постель хочется. Обувь темнеет от мокра. Слышно, как под ногами со скрипом лопаются непокорные всходы чемерицы, похожие на свернутый флажок железнодорожника. Фаина за жестяной клюв держит безвольно и вяло раскачивающуюся птицу, а Василий несет ребенка. В поселке почти нет огня и шума, лишь светятся фонари вокруг лесопильного цеха да в окне конторы снуло горит лампешка ? должно быть, нарядчик засиделся. Дом, еще пахнущий смолистой тайгой, преющими щепками, удушливой олифой, отчужденно стоит в стороне от поселковых посадок и закоулков. Фаина скорее спешит повернуть выключатель, осветить дом и радуется тому, что следом за нею входят еще две живые души, и думает с тревогой ? окажется она одна, ни за что бы не решилась зайти сейчас в темный, отшибленный от поселка дом, а жить в нем и подавно. Но ей пришлось входить в этот дом одной много раз и жить в нем одиноко много лет. Началась война. Василий наскоро забрал чурбаками два только что прорубленных окна, вставил и заклинил уже готовые косяки и раму в третье и отправился на пристань с котомкой за плечом. На пристани голосили бабы, играли гармошки, пели, плакали и целовались. Было шумно, суетно, тревожно. Фаина растерялась от всего этого, спрашивала мужа о портянках, глупая, об обуви, все время натываясь взглядом на плечо, где не было ружья. Василий уходил в армию весело, как на охоту. Недоумевал, чего это все орут! Ну война, ну подумаешь, какое дело! Поедут вот, расчихвостят немцев так, чтобы не совали свое свиное рыло в наш советский огород, ? и домой. Василий дурачился, нажимал жестким, залиселым от курева пальцем нос жены, говорил шутливо: "Мотри, горошина, не загуляй тут у меня!" Она колотила его по рукам: "У-у, дурной!" И лишь когда загудел пароход и начал отваливать, вдруг остро кольнуло Фаину в сердце, она всполошенно рванулась за пароходом к Василию. А между ними уже вода... В недостроенной избе зимою сделалось холодно, заболела воспалением легких дочка, не стало хватать пайка, и Фаина променяла пуховую шаль на буханку хлеба. Из лесопилки перекинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в ущелье Лысманихи. Но самое страшное было не это. От Василия через три месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу. Ее Василий не мог пропасть без вести! Уходя на работу, она упрямо прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе, под рушником. Ночью даже во сне сторожо ждала шагов, твердых, громких, какие могут быть только у хозяина. Кончилась война. Выросла и уехала в город дочка. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка. Хозяин вечен. Хозяин должен остаться при жене до самой смерти. Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг с другом так же, как ее отец-хлебопашец. Когда его свалило и он понял ? насовсем, ? остановил мать, заголосившую было над ним: "Все правильно. Люди смертны, и кто-то должен первый. Лучше я. Ты ? женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь..." "Обиходишь и снарядишь..." Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь? Она жадно слушала рассказы фронтовиков и, жалея не себя, а людей, утешалась этой бабьей жалостью и слезами. Услышит о том, как под Ленинградом люди голодовали, и про себя уж отмечает: "Вот и Вася мой тоже..." Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие, наоборот, двое суток лежали под бомбежкой и обстрелами, уткнувшись носом в песок, ? и протяжно вздохнет: "Где-то и Вася там бедовал". И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем. Ее Вася был на всем фронте. Нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним и со всеми людьми. Но иной раз ее захлестывала такая тоска, что беда оставалась с нею один на один, и тогда дни делались тяжелыми, а ночи нескончаемо длинными. Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на драчливых

и пьяных мужей. Не понимали они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки можно пересчитать! А кто подсчитает одинокие ночи, в которые перегорало еще ярое бабье нутро? Кто родит за нее Аркашку? Аркашкиных детей? ее внуков и правнуков? Ей часто снился один и тот же сон: поле подсолнухов, бесконечное, желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдет сердце, застонет Фаина не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валяются головы рябыми лицами вниз, стриженными шершавыми затылками кверху. По живому яркому полю проносится черной молнией полоса смерти. И вот уже не подсолнухи, не поле видится ей. Видится остроклювая пуля, попавшая в Василия и зримо улетающая в глубь времен. Пуля эта скашивает шеренгу русоволосых, веселых детей, так схожих лицом с ушастыми солноворотами. Ночами снятся вдове нерожденные дети. ? Эхмм-ма! ? выдохнул Суслопаров, обтерев ружье и положив полсотенную на клеенку. Деньга эта бумажная лежала на чистом столе, трудовая, мозолями добытая, но все равно не было никакой приятности от покупки, какой-то конфуз был. ? Э-эхма! ? повторил Суслопаров и пригорюнился, оперевшись на увеченную руку поврежденным ухом, похожим на пельмень. Но он тут же встряхнулся, сунул ружье в угол, за рукомойник, бросил шапку на голову. ? Я сейчас, Фаинушка! ? крикнул уже из сеней. Фаинушкой звал ее только Василий да еще Суслопаров, всегда почему-то стесняющийся ее. Скорей всего, потому, что такой большой, а на фронте не был? спичку счастливую вытянул. И еще оттого, что помнил Фаину кругленькой, фигуристой, когда у нее, как говорится, все было на месте, все при себе. Оно и сейчас без нарушений как будто. Такой же цветочный фартучек на ней, завязанный на окатистой спине бантиком, и грудь бойко круглится, и лицо не старое, даже румянец нет-нет да и проснется на нем, и волосу седого совсем мало, так лишь слегка задело порошицей. Но через глаза видно, как обвисло все у женщины внутри, как ветшает ее душа, и на мир с его суетою, радостями и горестями она уже начинает глядеть с усталым спокойствием и закоренелой скорбью. Суслопаров все думал, как поделикатнее убедить Фаину, что все времена ожиданий уж минули, хотел "пристроить" ее к детному вдовцу? старшине сплавщицкого катера Вахмянину. Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаине, даже шутку придумал насчет писания, в котором говорится: "Возлюби ближнего своего". Он почему-то был убежден, что с шуткой легче и лучше получится. Но начать разговор с шутки так и не решился, а привез как-то дрова на леспромхозовском коне, осмотрел дом и буркнул: "Жизнь-то проходит. Думаешь, долгая она?" И Фаина подтвердила: "Недолгая". Все, наверное, сладилось бы в ближайшее время к лучшему, да черт дернул кинемеханика завезти в леспромхоз длинную, переживательную картину "Люди и звери". Посмотрела ее Фаина и от Вахмянина отказалась наотрез. Суслопаров и ружье выманил у нее не без умысла. Деньги ей, само собой, нужны: пора ремонтировать так и не достроенный дом, а работает она второй год нянькою в детсаде, зарплатишка так себе, на харчи одни. Не сплаве уж не может, от ревматизма обезножела. "А может, и зря я затеял с ружьем-то? Может, у ней это последняя отрада? А я ее отнял. Эх, жизнь ты, жестянка!" ? смятенно думал и ругался Суслопаров, спеша к магазину. Возвратившись, он с нарочитой смелостью стукнул о стол пол-литрой и развеселым голосом возгласил: ? Обмыть покупку полагается? Полагается! Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила за тем, как он шумно и грузно ходил по избе, и в глазах ее была настороженность. "Неужели даже и на меня думает? приставать буду пьяный?" ? садясь к столу и перехватив взгляд Фаины, подумал Суслопаров и решил: выше нормы не принимать. Он махом выплеснул в рот полстакана водки, покривился и захрустел капустой. Фаина, как цыпушка, клюнула носом в рюмку и утерла ладонью губы украдкой. ? Так и не научилась, Фаинушка? ? Так и не научилась, ? тихо отозвалась она и, потупившись, дрогнула голосом: ? Может, надо было научиться пить, матькаться, ? может, легче б... За Лысманихой комом скатился с горы и раскололся выстрел. Немного погодя другой, третий. С нынешней воскресной вечерней зари открывалась охота, и местные охотники, опережая городских, еще засветло гуляли по угодьям и спешили побить и разогнать непуганую птицу. Суслопаров чуть не заговорил про охоту, но вовремя остановился. Собирался было поговорить о Вахмянине? мужике непьющем, негулевым, со всех точек зрения вдове подходящем, и тоже не решился. Получалось так, что всякой темы в разговоре с Фаиной боязно коснуться, и от этого чувство виновности перед нею еще больше возрастало, а от выпивки возникла слюнявая жалость к бабе. Он поскорее допил водку, молча поднялся, надел телогрейку, шапку, взял ружье и, приоткрыв дверь, глухо и по-трезвому стеснительно обронил: ? Прости, если что не так... ? Что ты, что ты! ? замахала руками Фаина, радуясь тому, что он не бередил ее разговорами, не полез с лапами и не уронил ее давнего к нему уважения. ? Стреляй на здоровье! Ружье без осечки, верное... ? Больше о ружье она ничего не могла сказать. ? Ну да сам знаешь... Хорошо, хоть к тебе попало... Он хотел что-то сказать, по поперхнулся, закашлялся и, сдвинув шапку на изуродованное ухо, которое даже весной мерзло, круто повернувшись, пошел в гору, к дому, стоявшему

верстах в двух от поселка, в устье Лысманихи. Возле этого дома на пестрой мачте болтались разные речные знаки. Суслопаров служил бакенщиком и еще разводил для лесхоза саженцы кедров и лиственниц. Фаина, неторопливо убирая со стола, втягивала ноздрями давно выветрившийся из избы запах водки, мужицкого пота и пожалела, что Суслопаров не покурил. Протерев до скрипа стакан и рюмку, она смахнула со стола крошки, затем полила тощий от постоянной, полутьмы фикус, доставшийся еще от матери и дуром на пол-избы разросшийся, но никогда не цветущий розан. Помахала венником по полу, вытерла лосиные рога, прибитые над кроватью, те, первые еще рога, похожие на марьины корни. Каждый отросточек протерла, каждую впадинку на кости. Нигде больше не было ни соринки, ни пепла табачного, не торчали махорочные окурки в цветах, не наслежено на полосатых половиках, которые вроде бы уж прилипли к полу. Из щелей пола куда-то девались дробь и пистоны отстрелянные. Прежде сплошь ими утыканы были щели, как тараканами желтыми, и вот куда-то подевались. Все куда-то подевалось. Всякие мелкие мужнины вещицы и штуковины исчезли так же незаметно, как появились когда-то. Рукавицы где попало не валялись, не свисали с полатей ремни болотных сапог, пахнувшие дегтем, не торчали в оконном косяке шило, сапожная игла, в желобках рамы не было старых свинцовых пломб, рыболовных крючков, гнутых гвоздиков и другого необходимого мастеровому мужику добра. Чисто в избе, ничего не тронуто, не сдвинуто, и не на кого поворчать за мужицкий, такой, оказывается, необходимый беспорядок в жилом доме. В других домах хоть письма от погибших есть. А тут и письма пропали. Всего их было четыре штуки, но осталась, давно еще, Маришка одна дома, добыла эти письма как-то из сундука и в горячую плиту сунула. Бумага вывалилась на пол, дыра прогорела возле печки. Дыру Фаина заколачивала наспех. До сих пор видно черное из-под железа. И до сих пор угнетает ее воспоминание о том, как она изо всей силы била ладонью по худенькому голому заду дочку, и без того почти задохнувшуюся в дыму. Плакала и била. Без писем, без вещей в воспоминаниях появляются дыры. Фаина упрямо латает их, и теперь ей даже огорчения из прошлой жизни кажутся не огорчительными. Но на сколько хватит этих ее усилий? Она часто снимает со стены портрет мужа. На портрете мужик с плоским лицом, похожим на лопату. Тот Василий, которого она помнила, был совсем-совсем другой. Он был таким, каким его ни фотограф и никто на свете не мог увидеть, кроме нее. Взять глаза на портрете. Они изумленные, ошарашенные, будто сел человек мимо стула, а его в это время засняли. В тех глазах, какие она знала, было радостное крошево из приветливости, широкодушия и озорства. А уж если нет тех глаз, то и смотреть не на что. Без глаз как без души. Фаина поправила половичок на сундуке, оглянулась как бы заново кругом, и в доме этом с давно прорубленными в горнице, но так и не пойманными солнца окнами, с перекосившимся потолком, с тихой и чистой пустотой, в доме этом вдруг сделалось ей неловко, как в пароходе, который стоял в устье Лысманихи, без машин, без гудка и даже без руля. Колесо-то от руля было, но руль уже ничего не поворачивал, потому что пароход сделался спортивной базой. С осени он пустовал. В пароходе этом спасались сплавщики от ветра. И всегда люди почему-то затахали в нем, а ребятишки не любили играть в пароходе, из которого вынута было сердце. Испугавшись такого нехорошего сравнения родного дома с отслужившим свой век пароходом, который уже никуда не пойдет, и спасаясь от пустого дома, Фаина залезла на печь, обжитую, душную, теплую, поправила сбившуюся с матраца мешковину, перевернула подушку нагретой стороной, прижалась к ней и стала плакать. Она плакала и час, и два, и три, все плотнее вжимаясь в уголок за трубу, но не для того, чтобы острее почувствовать свое одиночество и сделать слаще печаль, как это бывает у девушек, вдруг настигнутых первой разлукой, первой бедой. В слезах ее не было ни сладости, ни облегчения. Постукивали в лесу выстрелы: Над березовым колком, почти уже сведенным за войну бабами па дрова, поздним вечером ахнул выстрел, раскатился по Лысманихе и по надгорьям. После него как отрубило? ни выстрелов, ни стуку, ни шуму. Темнота густым потоком хлынула в кухонное окно. Лысманиха набухла туманом, обозначив себя вплоть до Камы. Белой жилой перечеркнуло окно в Фаином доме. Но и в ночи, сквозь туман, как до войны, правда, гораздо реже, тянули вальдшнепы, уставившись острым клювом и чутким взглядом в землю, отдающую прелью и нарождающейся травой; пиликали неугомонные кулички по берегам; на ночь закрывались белыми ушками ветреницы; распарывая ножевыми всходами кожу земли, выходила чемерица; бродили соки в деревьях, пробуждая листву; студень пар узорчатой прошвой ложился у подножий и на опушках темного леса; новый месяц прободнул небо острыми рожками; засыпал лесной поселок под стук движка, гасли в нем огни и голоса; усмирялось ненадолго полупьяное внешнее буйство? природа скапливала истраченные за день силы для завтрашнего, еще более разгульного праздника. Ночь была на земле, весенняя, короткая, беспокойная ночь. И всю эту ночь в пустом доме над речкой Лысманихой тихо, словно боясь помешать весне в ее великих делах в таинствах, плакала

Астафьев Виктор Петрович Тревожный сон [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
женщина. Она просталась с мужем. Просталась двадцать лет спустя после его смерти.  
И теперь уж навсегда. 1964

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!